

18+

Волеслав Султанбаев

Огонь и сталь

Волеслав Султанбаев

Огонь и сталь

<https://litres.ru/74225868>

ISBN 9785007041263

Аннотация

Сага о казачьем роде Звонарёвых, расколотом революцией. Андрей идёт за красными, Варя — за белыми. Брат подписывает приговор сестре. Лагерь, расстрелы, побег. Это история о том, как сталь классовой борьбы переплавляет живые души, но огонь родства оказывается сильнее ненависти.

Содержание

Султанбаев Волеслав Исиляевич	5
Огонь и сталь	6
2026год	7
ЭПИГРАФ	8
ОГОНЬ И СТАЛЬ	9
ПРОЛОГ	10
ЧАСТЬ I. ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЫМ	13
Глава 1. Завод	13
Глава 2. Смольный, ночь	19
Глава 3. Октябрьский переворот	24
Глава 4. БРЕСТ	31
В зале переговоров	32
Ночь с 23 на 24 февраля	35
Позорный трактат	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Огонь и сталь

Волеслав Султанбаев

© Волеслав Султанбаев, 2026

ISBN 978-5-0070-4126-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Султанбаев Волеслав Исиляевич

Огонь и сталь

2026год

АННОТАЦИЯ (до 500 знаков)

Сага о казачьем роде Звонарёвых, расколотом революцией. Андрей идёт за красными, Варя — за белыми. Брат подписывает приговор сестре. Лагерь, расстрелы, побег. Это история о том, как сталь классовой борьбы переплавляет живые души, но огонь родства оказывается сильнее ненависти.

(377 знаков с пробелами)

ЭПИГРАФ

«Огонь и сталь уже проснулись. Они ждали
своего часа».

(Из пролога)

ОГОНЬ И СТАЛЬ

.Февральский дым

Посвящается тем, кто сгорел, но не сдался

ПРОЛОГ

Июль 1916 года. Донская степь жила своей древней, обманчивой вечностью.

Ковыль переливался под ветром, как седой мех зверя. Небо было высоким, вылинявшим от зноя до белизны, и только где-то у горизонта оно плавилось сизым маревом. Андрей косил, и каждое движение косы было как вдох: взмах — и трава ложилась ровными рядами, источая горьковатый, пьянящий дух. За ним, сгребая сено в копны, шла Варя. Платок сполз с ее головы, русые волосы выбились, прилипли к вспотевшему лбу.

— Не отставай, сестра! — крикнул Андрей, обернувшись. Ему было двадцать, и в каждом его движении чувствовалась сила, пока еще не нашедшая настоящего дела. — Атаманша!

Варя бросила в него горстью сухой травы.

— Сам бы попробовал грабли таскать, казак выискался!

В тени старого вяза, на расстеленной дерюге, сидел отец. Матвей Ильич Звонарёв был коренаст, коротко стрижен, и лицо его, изрезанное морщинами, напоминало старую, но крепкую кожаную подошву. Перед ним лежала раскрытая книга, истертая до дыр на сгибах.

— Будет вам, — сказал он негромко, и дети притихли. В его голосе была та властная спокойная сила, которая не требует крика. — Садитесь, хлебать будем.

Они сели втроем. Варя достала из корзины краюху черного хлеба, кринку с молоком, сало, присыпанное серой солью. Андрей вытер пот с лица подолом рубахи и потянулся за ножом.

Нож был старый, с выщербленным лезвием, но наточенный так, что брил волос на руке. Ручка из каленой кости, потемневшая от отцовских ладоней. Отец взял нож, провел большим пальцем по лезвию — проверяя остроту, но скорее по привычке, древней, как само казачество.

— Погоди, — сказал отец. — Послушаем сначала.

Он пошевелил пальцами, достал из кармана жилетки коробок спичек — «Ласточка», еще довоенного выпуска. Чиркнул. Спичка вспыхнула мгновенно, серный запах смешался с запахом полыни. На секунду отец замер, глядя на маленький, живой огонек, который метался на ветру, не желая гаснуть. Потом поднес к трубке, раскурил. Клубы терпкого дыма потянулись к небу.

— А теперь хлеб режь, — сказал он, протягивая нож Андрею.

Андрей взял лезвие. Сталь блеснула. Так блестит вода в глубоком омуте — заманчиво и холодно. Он резал хлеб, и нож входил в мякоть с тугим, бархатистым хрустом. Варя разливала молоко. Все было на своих местах.

— Читай, батя, — попросила она.

Отец надел очки в железной оправе, откашлялся, и голос его, непривычно мягкий, поплыл над степью:

— » — *Поворотись, сынку! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И так все ходят в академии?»*

Андрей улыбнулся, жуя хлеб. Варя слушала, положив подбородок на колени. Отец читал про Тараса, про Остапа и Андрия, про Сечь, про сабли и про степь, такую же, как эта. В словах Гоголя было что-то родное, кровное. Казалось, сама земля дышит через эти строки.

Солнце клонилось к закату, тени вытягивались, становясь похожими на длинные пальцы. Сено пахло летом, которого, наверное, больше никогда не будет. Андрей не знал этого. Он доел краюху, вытер нож о траву и воткнул его в землю. Сталь вошла легко, как в масло. Огонек в отцовской трубке потух.

Только дым еще вился над вязом тонкой, печальной нитью.

Никто из троих не знал, что этот вечер — последний. Что нейтральный мир кончился. Что через год отец будет читать не Гоголя, а похоронные. Что спичка, которую он зажег, была не просто спичкой. И нож был не просто ножом.

Огонь и сталь уже проснулись.

Они ждали своего часа.

ЧАСТЬ I. ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЫМ

Глава 1. Завод

Петроград задыхался в феврале.

Не в том календарном феврале, который бывает каждый год, а в том, который сдирает с города последнюю шкуру тепла. Мороз пробирал до костей, но люди в очередях грели друг друга только своими телами, и этого тепла не хватало. Андрей стоял у проходной Путиловского завода, и снег, черный от копоти, падал ему на плечи.

Он приехал сюда осенью, по вербовке. Отец не благословил, но и не удержал.

— Иди, — сказал тогда Матвей Ильич, глядя в сторону. — Все одно тут тебе делать нечего. Земли — кот наплакал. В городе, глядишь, человеком станешь.

Человеком он не стал. Он стал номером. Табелщик выкликал фамилии, и когда очередь доходила до «Звонарёв», Андрей делал шаг вперед, точно солдат на перекличке. Восемь часов у станка. Потом четыре часа сна в казарме на двенадцать коек. Потом снова восемь часов. Сталь. Масло. Стружка, которая летит в лицо и въедается под кожу. Иногда ему казалось, что он сам стал частью станка — такой же жесткой, бездумной, вибрирующей.

Сегодня станки молчали.

Стачка началась накануне. Сначала тихо — как подземный гул, который гасят стены цехов. А к вечеру рванула так, что проходная загудела от тысяч ног. Кто-то крикнул: «Братцы, хлеба требуем!» — и крик этот подхватили горла, надорванные литьём и сыростью.

Андрей проснулся в темноте, за минуту до гудка. Но гудок не завыл. В казарме было тихо, только храп да скрип нар. Кто-то уже одевался, шаркая по бетонному полу. Лампочка под потолком мигала тусклым жёлтым глазом — электричество давали урывками.

— Выходи, что ли, Звонарёв, — окликнул его сосед с нижней койки, пожилой токарь по фамилии Седых. — Нынче работать не будем. Весь завод встал.

— А зачем встали? — спросил Андрей, натягивая промасленную фуфайку.

— Зачем? — Седых усмехнулся в усы, тронутые сединой. — Бабы в очередях по трое суток стоят. Хлеба нет. У тебя, поди, живот к спине присох? Вот и у всех. А хозяева в столовых жрут. Прижали — распрямились.

На улице было серо, будто кто-то занавесил небо мокрой ватой. Снег валил густо, но не белый — бурый, перемешанный с угольной пылью из труб. У проходной уже толпились. Тисяч триста, наверное, а может, и все пятьдесят. Андрей никогда не видел столько людей сразу. Они не шумели — гудели, как больной улей. Женщины в платках, с красными от

ветра лицами, держали детей за руки. Рабочие в брезенте и ватниках. Студенты в потертых шинелях. Старухи, крестившиеся мелко и часто.

— Звонарёв! — проскрипел голос табельщика, но Андрей уже не шагнул. Никто не шагнул.

Кто-то залез на тумбу у ворот и заговорил, размахивая кепкой. Андрей не вслушивался в слова — они были простыми: «хватит терпеть», «долой войну», «хлеба и свободы». Главное было не в словах. Главное — в том, как качнулась толпа, когда кто-то крикнул: «Идем к Нарвской!»

Они пошли. Всею массой. Нестройно, но неудержимо, как ледоход на Волхове. Андрей шагал где-то в середине. Снег лепил в лицо, но внутри вдруг стало горячо. Он подумал об отце — как тот стоит сейчас на пустом поле, где земля «кот наплакал», и не знает, что сын его шагает в толпе, которая больше похожа на реку.

— Куда мы идём? — спросил Андрей у Седых.

— Куда? — Тот взглянул на него, и глаза у токаря были сухие, спокойные, как у человека, который всё уже решил. — Мы, паря, в историю идём.

И они шли. По Ораниенбаумскому шоссе, где вешал городовых на фонарях ещё в пятом году. Мимо пустых лавок с заколоченными ставнями. Мимо особняков, где за плотными шторами горел свет. А впереди, у заставы, уже выстраивались в цепь солдаты. И кто-то в толпе, срывая голос, запел «Марсельезу» — по-русски, коряво, но так, что мурашки по

спине пошли не от мороза.

Андрей сжал кулак в кармане. В том кармане лежало письмо от отца, пришедшее на той неделе. Матвей Ильич выводил косыми буквами: «Милый Андрюша, выживи. Остальное приложится».

«Выживу», — подумал Андрей, глядя на солдатские штывы. — «Или не выживу. Но номером больше не буду».

— Братцы! — закричал молодой парень в замасленной кепке, влезая на ящик. — Не расходиться! Всем миром пойдем к Думе!

Но пойти не успели.

Андрей услышал цокот копыт сначала — тяжелый, частый. Потом увидел всадников. Кавалерия вынырнула из-за угла, как звери из норы: серые шинели, каски, лошадиные морды в мыле. Офицер на гнедом жеребце взмахнул рукой, и строй развернулся цепью.

— Разойдись! — крикнул он звенящим голосом. — По закону военного положения приказываю!

Толпа не расходилась. Наоборот, она сжалась, стала плотнее, как кулак. Кто-то кинул в солдат комком снега. Кто-то засвистел.

— Стрелять буду! — предупредил офицер.

Андрей стоял во втором ряду. Прямо за женщиной с младенцем на руках — закутанным, спящим, ничего не понимающим. Он хотел крикнуть ей, чтобы уходила, но язык не слушался.

Офицер опустил руку.

Залп ударил не звуком — ударом. Как если бы огромная дверь хлопнула у самого уха. Андрей не понял сначала, что случилось. Он просто упал на снег, потому что кто-то сзади навалился на него. А когда поднял голову, увидел, что женщина стоит на коленях, качается, и на снег, черный от копо-ти, падают алые капли — одна, вторая, третья.

Младенец не плакал.

Пуля прошла навылет — ей, не ему. Женщина держала ребенка, улыбаясь чему-то нездешнему, и кровь заливала пеленки. Андрей закричал — не от боли, от ужаса. Но крик утонул во втором залпе.

Что-то горячее, стальное, скользнуло по виску. Он почувствовал вкус крови на губах — своей или чужой, не разобрал. И тогда он впервые в жизни захотел убить. Не защититься. Не убежать. Искренне, жадно, как голодный просит хлеба, захотел взять чужую жизнь.

Он не помнил, как бежал. Помнил только, что снег под ногами был уже не черный, а красный, и запах пороха смешивался с запахом железа — того самого, которое он точил на станке. Сталь, которая стала убивать своих.

В казарму он вернулся ночью. В зеркале над рукомошкой — чужое лицо. Рассеченная бровь, запекшаяся корка на скуле. Он смотрел на свое отражение и не узнавал. Только глаза остались прежними — отцовские, серые, как донская вода в пасмурный день.

Андрей разжал кулак. На ладони лежала гильза — он подобрал ее, сам не зная зачем. Медная, теплая еще, пахнувшая горелым. Он сунул ее в карман, рядом с отцовским наказным крестом.

В ту ночь он не спал. И когда под утро в казарму ворвался вестовой с криком «Братцы! Государя свергли!», Андрей первым вскочил на ноги.

Глава 2. Смольный, ночь

В ту же самую ночь коридоры Смольного института гудели, точно ярмарочная площадь, — но то была ярмарка особого, невиданного доселе свойства. Здесь не звенели монеты и не зазывали зазывалы: вместо выкриков торговцев стоял приглушённый, сбивчивый гул, какой рождается в потёмках, когда история берёт за горло время. Топот солдатских и матросских сапог сливался с дробным перестуком пулёмётных лент, ещё пахнувших медью и снегом, а сквозь этот низкий, настойчивый ритм прорывался запах махорки — едкий, горький, намертво въевшийся в лепные карнизы и высокие филёнчатые двери. Стены Смольного помнили иное: духи институток — фиалку и жасмин, шёпот классных дам и трель звонка на уроки танцев. Теперь они вздрагивали от грубых голосов, от хриплого смеха делегатов, от того, как нетерпеливо били приклады об паркет. Всё здесь стало оружием, даже тишина.

В кабинете, где прежде начальница учебной части подписывала расписания экзаменов и читала нравоучения провинившимся воспитанницам, сидел человек, который только что объявил миру о конце старой войны. Владимир Ильич Ленин склонился над столом, и ни одна черта его лица не выдавала усталости — только сосредоточенность, похожая на оголённый провод. На столе не было ни привычных книг, ни

аккуратных папок; поверх зелёного сукна, в пятнах от пролитого чая и пепле папирос, разворачивалось нечто более весомое, чем любой учебник. Здесь, под скрип пера, творилась сама плоть грядущего.

Он писал, наклонив голову к плечу — так, словно прислушивался к чему-то внутри себя. Перо летало по бумаге с пугающей быстротой: ни секунды раздумья, ни единой поправки. Казалось, он боится, что кто-то — выстрел, сомнение, вечность — успеет раньше.

За дверью шёл свой спор. Матросы с Балтики, в бушлатах, пахнувших пороховой гарью, переругивались с красногвардейцами из Выборгского района — голоса низкие, простуженные, с матерком, который здесь, в дворянском гнезде, звучал почти кошунственно. И вдруг сквозь этот мужской, жёсткий гул проскальзывал тонкий, звонкий смех — то машинистки из Совета, девчонки в солдатских гимнастёрках, разносили чай в гранёных стаканах, ловко обходя толпу. Одна из них, рыжая и веснушчатая, задержалась у двери, прижалась ухом к филёнке — хотела услышать, как пишут декреты. Но Ленин не слышал ничего. Ни смеха, ни брани, ни топота. Только своё дыхание и скрежет пера.

Он писал:

«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа...»

На секунду поднял голову — и взгляд его упёрся в окно. За стеклом стояла не ночь, а чёрное, бездонное месиво из туч

и дыма, где изредка вспыхивали редкие огни — то ли далёкие пожары, то ли сигнальные ракеты. Где-то за Невой, в сторону Выборгской стороны, бухали орудия. Салют? Или ещё не стихла пальба по юнкерам, засевшим в гостинице «Астория»? Ленин усмехнулся — горьковато, краешком губ, словно оценив иронию минуты: второй день власти, идёт второе заседание съезда, а в ушах всё ещё стреляет. Но усмешка погасла быстро. Он вновь склонился к листу, и перо продолжало:

«...Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются».

В коридоре грянул новый взрыв голосов — кто-то затянул «Интернационал», сорвал высокую ноту, и лепнина на потолке, казалось, отозвалась старым, забытым звоном. А Ленин перевернул страницу и начал следующий абзац — о том, как земля перейдёт в руки трудового народа. Без колебаний, без жалости, без выкупа. И перо его летело всё так же быстро, как будто позади не было двадцати четырёх часов непрерывной работы, а впереди — тысячелетняя русская ночь, которую следовало во что бы то ни стало дожить до рассвета.

В соседней комнате было иначе.

Там матросы — черные бушлаты, набриолиненные чубы, на груди пулеметные ленты — сидели в обнимку с девушками-писарицами, и вся эта компания напоминала странную, дикую свадьбу. Но один из матросов, по кличке Ермак (на-

стоящего имени никто не помнил), не пил чай. Он стоял у окна с винтовкой и смотрел вниз, на Неву.

— Глянь, — сказал он своему напарнику Палычу, кивая вниз. — Опять эти.

По набережной, прижимаясь к стенам, шли четверо. Гражданские, в длинных пальто, с тяжелыми саквояжами. Шли осторожно, крадучись, оглядываясь. Спекулянты. Палыч сплюнул сквозь зубы, прицелился.

— погоди, — остановил Ермак. — Живыми брать надо. Показательный процесс.

Они выскочили вниз втроем, и еще двое из патруля подоспели. Обыск был коротким. В саквояжах — мука, сахар, туалетное мыло, пара пачек папирос «Сафо». Ценности на черном рынке — целое состояние.

— Ну что, господа хорошие? — Ермак ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. — На народе наживаться? Народ сейчас голодный, а у вас, гляжу, и сахарок есть.

Спекулянты молчали. Только один, постарше, в пенсне, пробормотал:

— Это частная собственность. По закону...

— Закон? — Ермак взял его за воротник, легко приподнял. — А ты, профессор, газеты читаешь? Нет больше вашего закона. Есть декрет. А декрет, он, брат, тверже, чем твой пенсне.

Матросы засмеялись. Саквояжи забрали, спекулянтов погнали в подвал — временно, до выяснения. Ермак поднял

Один саквояж, взвесил на руке.

— Палыч, бери. Завтра голодным раздадим.

Палыч усмехнулся:

— А себе?

— Себе, — Ермак посерьезнел, — себе мы власть возьмем. А это — хлеб насущный.

В Смольном, на третьем этаже, Ленин поставил последнюю точку. Откинулся на спинку стула. Лист бумаги лежал перед ним, исписанный мелким, торопливым почерком. Декрет о земле.

Он взял лист в руки, перечитал последнюю строку. Потом подошел к окну. Внизу, у подъезда, горел костер — часовые грелись. В свете огня Ленин увидел матросов, выходящих из темноты с саквояжами. Увидел их грубые лица, отблески пламени на штыках.

— Так надо, — сказал он тихо, сам себе. — Так надо.

В ту ночь огонь горел в двух местах. Один — в костре у Смольного. Другой — в голове этого человека с плешью и острым взглядом. И оба огня ждали, чтобы сжечь старую Россию дотла.

Глава 3. Октябрьский переворот

Варя Звонарёва попала в Петроград случайно. Как снег на голову — если бы снег мог падать вверх.

Она ушла из дома летом, когда отец сказал, что казачеству теперь конец — говорят, большевики землю делят, а с ней и вольность казачью. Варя не спорила. Она давно хотела учиться на фельдшера, еще с тех пор, как мать умирала от чахотки, а в хуторе не было ни лекаря, ни лекарства. В Петрограде были курсы Красного Креста. В Петрограде был воздух, которым хотелось дышать.

Двадцать пятое октября она запомнила не по календарю. По холоду.

Ночью не спали. В лазарете на Литейном, куда ее прикомандировали, было тихо, но эта тишина была похожа на ту, что бывает перед грозой — когда воздух становится стеклянным и давит на виски. Варя меняла повязки солдату с гангреной — молодой совсем парень, без ноги, бредил и звал маму.

— Сестра, — прошептал он, открыв глаза. — Что там? Стреляют?

Варя прислушалась. Где-то далеко — неровный треск. Не то разрывы, не то салют.

— Спи, — сказала она. — Всё хорошо.

Она сама не верила в это. Старшая сестра, Надежда Пав-

ловна, сорокалетняя женщина с руками, изъеденными карболкой, забежала в палату встрепанная.

— Варя! Собирайся! На Зимний отправляют! Перевязочный отряд!

Зимний дворец она видела только на открытках. Когда они пришли — их было человек двадцать санитарок и врачей — уже светало, но света этого было мало. Дворец стоял мрачный, как утес. В окнах нижнего этажа — огни, в верхних — темнота. У ворот суетился народ, солдаты в шинелях без погон, матросы, какие-то женщины с красными бантами.

— Стой! — крикнул ей молодой парень с винтовкой. — Кто такие?

— Сестры милосердия! — Надежда Павловна показала удостоверение. — Раненых принимать!

Их пропустили.

Внутри был ад. Не тот ад, который Варя представляла по книжкам — с котлами и чертями. Ад тихий, чиновничий, с паркетными полами, залитыми чернилами и почему-то овсяной кашей. В коридорах валялись бумаги — приказы, ведомости, какие-то бланки с двуглавыми орлами. По стенам висели портреты царей, и на одном из них, на Николае Втором, кто-то нарисовал усы.

— Сюда! — крикнул врач из отряда.

В боковой комнате — бывшей библиотеке — лежали раненые. Человек пятнадцать. У большинства — легкие ранения, но у одного, юнкера лет восемнадцати, была простреле-

на грудь. Он хрипел, и из раны пузырилась розовая пена. Варя опустилась на колени рядом, разрывая пакет с бинтами.

— Держите его! — крикнула она.

Руки ее не дрожали. Она училась этому — не бояться крови. Но сейчас дрожала душа. Потому что над головой, где-то на втором этаже, гремели шаги, и кто-то кричал матерно, а кто-то отвечал выстрелами.

Юнкер открыл глаза. Голубые, совершенно детские, с испугом.

— Сестра... — прошептал он. — Мама... передайте маме...

Варя зажала рану. Бинты намокали мгновенно, становились алыми.

— Сам передашь, — сказала она жестко. — Не смей умирать!

Он улыбнулся — и вздохнул. Судорожно, последний раз. Глаза остались открытыми.

Варя не успела даже заплакать. Потому что дверь распахнулась, и в библиотеку ввалились матросы — двое, с винтовками наперевес, пьяные или просто обезумевшие.

— Кто тут? — заорал один, с серьгой в ухе. — Белые?

— Сестры милосердия! — Надежда Павловна встала перед ними, как стена. — Раненые! Выйдите вон!

Матрос заколебался. Но второй, позади, толкнул его:

— Ладно, пошли. Своих не трожь.

Они исчезли так же внезапно, как появились. А Варя си-

дела на коленях в луже крови и смотрела на мертвого юнкера. На его пальце было золотое кольцо — обручальное. Он женился, наверное, недавно. Или собирался.

— Вставай, — Надежда Павловна потянула ее за плечо. — Делать нечего. Пошли наверх, там помощь нужна.

Они поднялись по парадной лестнице, которая была зава-лена щепками от разбитой мебели. Варя шла и считала ступеньки — чтобы не сойти с ума. Один, два, три...

Наверху она его и увидела.

Он стоял у колонны, прижимая окровавленную руку к груди. Высокий, светловолосый, в офицерском френче без погон — содрали уже, наверное. Он смотрел перед собой остановившимся взглядом, и Варя подумала сначала, что он тяжело ранен.

— Господин... — обратилась она, подходя. — Давайте я перевяжу.

Он посмотрел на нее. Глаза — странные, темно-карие, почти черные — вдруг сфокусировались.

— Не надо, — сказал он хрипло. — Это не моя кровь.

И тогда Варя увидела, что рука у него цела. Френч залит алым, но раны нет. Чья-то чужая жизнь, чужая смерть оставили на нем свой знак.

— Вы из защитников? — спросила она тихо.

Он усмехнулся. Горько, одними губами.

— Был. Теперь — никто. Зовите меня Николай.

Он протянул здоровую руку, и Варя, не понимая зачем,

пожала ее. Ладонь его была холодной, как сталь. И так же крепкой.

Внизу, в вестибюле, кто-то выстрелил. Потом запели «Интернационал» — сотнями глоток, нескладно, но мощно. Власть перешла из рук в руки. А Варя стояла перед офицером без погон, и ей казалось, что между ними протянулась тонкая, горячая нить — как та спичка, что зажег отец в степи.

Огонь и сталь встретились.
Ничего хорошего это не предвещало.

Осень и зима 1917 года встретили Россию не победными знамёнами, а ледяным дыханием хаоса. Старая армия, утомлённая трёхлетней бойней, разлагалась на глазах — солдаты тысячами бежали с позиций, увозя в обозах украденные винтовки и жгучую ненависть к войне. К моменту, когда большевики взяли власть, стране грозил полный военный и экономический коллапс. Именно поэтому 26 октября 1917 года прозвучал «Декрет о мире», провозгласивший курс на справедливый мир без аннексий и контрибуций. Однако надежды на то, что европейский пролетариат немедленно поднимет восстание, оказались иллюзией, а правительства стран Антанты попросту проигнорировали призывы Петрограда.

Три судьбы России

В промёрзших залах Брест-Литовска, где встречались ди-

пломаты и генералы, судьба советской власти повисла на волоске. Сама атмосфера переговоров напоминала скорее торг у разбитого корыта: Германия цинично отказалась от своей первоначальной поддержки лозунга «мира без аннексий» и потребовала гигантских территориальных уступок. Этот момент стал водоразделом для партии большевиков, расколов руководство на три непримиримых лагеря.

Николай Бухарин, лидер «левых коммунистов», горячо призывал к революционной войне, полагая, что отказ от борьбы станет предательством идеалов. Его соратники, вдохновлённые романтикой мировой революции, утверждали, что даже падение советской власти менее страшно, чем позорный мир с «империалистами». Лев Троцкий занял промежуточную, но оттого не менее рискованную позицию: «Ни мира, ни войны!» Он предложил прекратить боевые действия и распустить армию, надеясь, что истощённая Германия не осмелится наступать и что революция вот-вот вспыхнет в самой Германии.

И лишь Ленин смотрел правде в глаза. В частных спорах он был резок и непреклонен. «Крестьянин не хочет войны... На революционную войну мужик не пойдет — и сбросит всякого, кто открыто это скажет», — убеждал он своих соратников. Владимир Ильич прекрасно осознавал, что армии нет, разруха и голод правят бал в тылу, а молодой республике нечем ответить на удар кайзеровских дивизий.

Когда рухнули иллюзии

Иллюзии развеялись в феврале 1918 года, после того как Троцкий демонстративно покинул переговоры, заявив немцам, что Россия подписывать позорный договор не будет. Ответ Германии был стремителен и жесток: 18 февраля германские войска возобновили наступление по всему фронту, не встречая серьёзного сопротивления. «Социалистическое отечество в опасности!» — гремел декрет, но было уже почти поздно. Армия окончательно разбежалась, и немцы беспрепятственно катились к Петрограду, захватывая город за городом. 23 февраля, когда германский ультиматум с ещё более жёсткими условиями лёг на стол, Ленин поставил партию перед жёстким выбором: немедленный мир или неминуемая гибель.

Цена дыхания

Ленин пошёл на этот шаг, движимый ледяной, циничной необходимостью — страхом не за себя, а за само существование власти. Он боялся не столько штыков, сколько катастрофы: если немецкое наступление продолжится, толпа сметёт Советы, заключив «мир» с врагом руками какого-нибудь нового, диктаторского правительства. Главной целью для него стала передышка — «отсрочка» любой ценой. В отличие от Бухарина, Ленин трезво оценивал, что для революционной войны нужна мощная армия, а её нет и быть не может в условиях всеобщего дезертирства. Брестский мир, названный им же самим «похабным», становился жестокой платой за выживание.

Глава 4. БРЕСТ

Конец декабря 1917 года — 3 марта 1918 года. Брест-Литовск.

Андрей никогда не думал, что стыд может пахнуть. Но здесь, в Бресте, в промерзших комнатах гостиницы «Германия» (бывшей крепостной офицерской казарме, наспех переоборудованной для приема «красных парламентёров»), стыд пах кислой капустой, мокрой шинелью и дешевым табак — «козьими ножками». Запах въедался в поры, как сажа. Но настоящая вонь шла с улицы: там, у железнодорожных путей, разлагались туши лошадей, которых нечем было кормить. Армия, которую Андрей покинул месяц назад, умирала быстрее, чем договаривались дипломаты.

Их, делегацию путиловских рабочих, прислали сюда не для охраны границ — для демонстрации. «Покажите немцам, что за Советами стоит пролетариат», — сказал на прощание Зиновьев. Но на деле путиловцы понадобились, чтобы сдерживать *своих же*. Солдаты 262-го запасного полка, расквартированного в окрестностях, уже три дня отказывались подчиняться приказам и требовали одного: немедленного мира. Любой ценой. «Хватит воевать за чужие проливы!» — кричали они в лицо комиссарам.

Смешно было охранять Троцкого от тех, кто сам пришёл сдаваться. Но приказ есть приказ.

Лев Давидович появился в коридоре гостиницы неожиданно, без свиты, лишь с секретарём и переводчиком-немцем. Он был одет в чёрный костюм и котелок — вызывающе по-буржуйски для наркома. Андрей впервые увидел его так близко: бледное, острое лицо, пенсне, руки в карманах. Троцкий не смотрел на охрану. Он смотрел сквозь них — в Европу, в историю, в собственное бессмертие. Андрей вытянулся, но пальцы на морозе уже не гнулись. Винтовка казалась чугунной трубой.

— Товарищ нарком, — прошептал командир охраны, — немецкий генерал Гофман ждёт вас в зале. Говорят, он ультиматум привёз.

— Ультиматумы не принимают, — отрезал Троцкий, не оборачиваясь. — Их диктуют.

Но Андрей успел заметить, как дрогнула рука наркома, когда тот поправлял пенсне.

В зале переговоров

Немцы сидели как хозяева. Не как победители — как люди, которые пришли забирать свою собственность. Генерал Гофман, баварец с бритой головой и тяжёлой челюстью, не вставал при входе русских. Он постукивал пальцем по карте — безжалостно, в такт своим словам.

— Вот Польша. Вот Литва. Вот Курляндия. Вот Ливония и Эстляндия. Вот Украина, с которой мы заключили сепар-

ратный договор. Вот Рига — её мы уже взяли. Всё это больше не Россия. Подписывайте.

Русская делегация — старые дипломаты времён царя (Покровский, Карахан), которых большевики одели в новые костюмы, но не научили врать, — мяли бумаги. Григорий Сокольников, формальный глава делегации, сидел с каменным лицом. Он уже знал решение ЦК: Ленин требовал мира, Троцкий рвался в пропаганду, а Бухарин звал к революционной войне. Но ни у кого из них не было дивизий.

Андрея в зал не пустили. Но через дверную щель он видел, как один из русских переводчиков — молодой, в пенсне — выбежал в туалет и зарыдал в голос. За толстой дверью Андрей слышал это сквозь гул отопления. Плакал не он один. Плакала сама идея «единой и неделимой».

— ...семидесяти пяти процентов промышленности и тридцати четырех процентов сельского хозяйства лишается Республика, — процедил Гофман, когда перерыв закончился. — А также миллиона квадратных километров с пятьюдесятью шестью миллионами населения.

Цифры падали на стол, как гильзы.

После перерыва. День первый. Февраль 1918-го

Рабочих пустили погреться в коридор. Андрей прислонился к стене и закрыл глаза. Перед глазами стояла Петроградская сторона: завод «Новый Лесснер», отец у станка с трёхзвёздочным паспортом, мать с ведром воды из Невы.

«Кто не работает, тот не ест». А теперь они будут есть немецкий хлеб. Под немецким сапогом.

— Слышал, что в Питере? — сосед, парень с Ижорского завода по кличке Кулик, тыкнул его в бок. — Голод. Муки нет. Картошка кончилась. На Невском бабы дрались за селедочные головы. Факт. А Ленин говорит: «Мир любой ценой, чтоб власть спасти». Но какая власть без земли?

— А Троцкий? — спросил Андрей, не открывая глаз.

— А Троцкий... — Кулик понизил голос. — Он 10 февраля всем заявил: «Ни мира, ни войны. Армию демобилизуем, но мира не подпишем». Гофман тогда вскочил и говорит: «Bewundernswert!» — «Восхитительно!» Мол, вы сами разваливаете свою страну быстрее, чем мы её завоёвываем.

Андрей открыл глаза. В конце коридора Троцкий стоял у окна и смотрел на площадь. Там, под присмотром немецких патрулей в касках с пиками, русские солдаты — свои же — понуро топтались у полевой кухни. Какая-то баба в платке торговала махоркой и подсолнухами. Немецкий обер-лейтенант дал ей шоколадку. Взял горсть семечек. Улыбнулся. Победители улыбаются легко.

— Позор, — выдохнул Андрей.

— Погоди, — Кулик сплюнул на пол. — 18 февраля немцы наступление начали. Без объявления войны. И что ты думаешь? Полки бегут. Оружие бросают. Командиры — кто удрал, кто в плену. За пять дней немцы прошли до Пскова и Наровы. До Петрограда — двести вёрст.

Андрей вспомнил: так вот зачем Ленин требовал «мира любой ценой». Не от трусости. От бессилия. Армии нет. Флот разбежался. Дезертиров — больше миллиона. А те, кто остался, голодны и злы.

Ночь с 23 на 24 февраля

В гостинице было тихо. Андрей заступил в караул у комнаты, где заседала делегация. За дверью спорили до хрипоты.

— Я не могу подписать этот грабёж! — это голос Троцкого, высокий, надорванный.

— Ты подпишешь, Лев Давидович, или я выйду к народу и скажу, что ты сорвал мир из-за личного самолюбия. — Голос Ленина, которого Андрей узнал по граммофонным записям, звучал из телефонной трубки. Владимир Ильич был в Смольном, но его тон пробивал сотни вёрст. — Немцы предъявили новые условия: отдать ещё и Донбасс, и Чернигов, и Полтаву, и Таганрог. Но если мы не подпишем сейчас, они возьмут Петроград. И тогда условий не будет вовсе. Голосуем.

Андрей услышал шорох бумаг. Потом голос Бухарина (он был здесь, прятался в соседней комнате, чтобы мешать): «Это измена! Ленин — германский шпион!» И звон разбитой тарелки.

Под утро дверь открылась. Вышел Сокольников — бледный, с красными веками. В руках — плотная папка. Андрей

мельком увидел текст: «Брест-Литовский мирный договор», внизу — подписи.

Позорный трактат

3 марта 1918 года Брестский мир был подписан. Советская Россия лишилась Польши, Прибалтики, части Белоруссии и Украины, обязывалась демобилизовать армию и выплатить гигантскую контрибуцию в 3 миллиарда рублей. Нации пришлось глотать эту горечь и подчиняться грабительским требованиям победителя, утратив контроль почти над третью своего населения и огромными территориями. Гнев Бухарина, отчаяние левых эсеров, попытавшихся взбунтовать Москву в июле, — всё это было платой за тот исторический «вздох», который выторговал Ленин ценой национального унижения. Вскоре, когда в ноябре 1918 года Германия сама потерпела крах и капитулировала, советское правительство аннулировало договор, продемонстрировав, что вынужденное унижение стало лишь этапом на его пути к власти

— Подписали, — сказал Кулик, когда дверь закрылась. — Отдали Польшу, Прибалтику, Белоруссию, Украину, Закарпатье... И триста миллионов рублей золотом — репараций. Факт.

— И комиссаров наших расстреляют, если не уйдут, — добавил кто-то из охраны. — Тех, кто в Киеве и Минске

остался.

Троцкий вышел в коридор последним. Лицо — восковая маска. Глаза — две льдинки. Он не смотрел на рабочих. Он смотрел в пол, как человек, который только что похоронил собственную гордость.

— Товарищ нарком, — осмелился Андрей, — а правда, что мы этот мир... разорвём когда-нибудь? Что Германия сама рухнет?

Троцкий остановился. Повернул голову.

— Германия рухнет. Я даю ей не больше года. Но мы потеряем этот год. А время — единственное, чего у нас нет.

Он ушёл. Андрей остался стоять с винтовкой, чувствуя, как стыд заливает лицо краской, которая не смывается даже февральским снегом.

Винтовка тяжело легла на стол коменданта — бывшего царского унтера, а ныне, по случаю немецкой оккупации, просто Вячеслава Ивановича, который уже успел снять красную повязку и пришить обратно георгиевского кавалера.

— Сдаёшь, Андрей? — спросил унтер, не глядя в глаза.

— Сдаю.

— А зря. Ещё пригодится.

— Немцам?

— Немцам, может, и нет. А своим — обязательно. Ты газеты-то читал? На Дону казаки беснуются. На Украине Петлюра. В Питере эсеры из себя героев строят.

Андрей забрал квитанцию о сдаче оружия, сплюнул сквозь зубы и вышел на улицу. Мартовский ветер дул с Буга — сырой, злой, прокуренный чужими папиросами.

На углу у табачной лавки он увидел старика-еврея с пейсами, который вывешивал на дверях объявление на трёх языках: русском, немецком и идише. «Магазин работает по новым правилам. С 8 до 18. Перерыв с 12 до 13. Покупки только по карточкам. Евреям вход разрешён с 16 до 17».

— Зачем? — спросил Андрей, хотя ответ знал заранее.

Старик пожал плечами:

— Молодой человек, я здесь буду жить после немцев. А после вас — неизвестно.

К вечеру Кулик притащил самогон и кислую капусту из солдатского котелка. Сидели в номере на втором этаже, из окна было видно, как внизу немецкие офицеры в моноклях фотографируются у здания вокзала — на память о взятии Бреста.

— Слышал, чего Ленин сказал? — Кулик налил в кружку, перекрестился по старой привычке и тут же спохватился, убрал руку. — Мол, немецкий солдат в сто раз лучше русского революционера.

— Врёшь.

— Честное слово. В газете читал. «Правда» называется. Только вот неправда там сплошная.

Андрей взял кружку, но пить не стал. Поставил на подоконник.

— Ленин в поезде сидит. В Кремле. А мы тут — лицом в грязь. Семьдесят восемь тысяч вёрст отдали. Польшу. Прибалтику. Украину жирную. И за что? За то, что Троцкий уничтожить решил?

— Тихо ты, — Кулик оглянулся на дверь. — Услышат. Немцы, конечно, не тронут — им всё равно, кто чего говорит. Свои услышат — донесут. Новые люди пошли. Без понятий.

В дверь постучали. Три раза — коротко, по-военному.

Андрей открыл. На пороге стоял незнакомый парень в кожаной куртке — из тех, что называли «комиссарами», хотя комиссаров тогда ещё не было. Просто ловкие ребята, которые чуяли, куда ветер дует.

— Андрей Бережной?

— Я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.